

Мои тексты о путешествиях обычно зависят в каком-то промежуточном, неведомом науке агрегатном состоянии и не похожи в равной степени ни на опус тревел-блогера (путешествия эти – спорадические, впечатления же — бессистемные, часто противоречивые, не дающие целостного взгляда на место), ни на полноценное художественное произведение (бытовые подробности иногда пудовой гирей тянут к земле, пригвозждают намертво, не позволяя нарисовать ясный и моментально схватываемый абрис). Впрочем, судя по анамнезу, маргинальность — мой конек. И вообще, я предвзята к пространству и людям, склонна любить малоизвестное, полужнакомое (хотя по-настоящему, наверное, можно любить только тебе до конца неизвестное). Моя заочная любовь к некоторым местам отдает попсовым привкусом футболок «я люблю Париж». И все же рано или поздно все умозрительное должно материализоваться, облечься плотью. Этот процесс завлекает и пугает одновременно, отдает холодком под ложечкой, как ожидание встречи

с каким-нибудь кумиром детства, которую ты просчитал до шага, и боишься, что все пойдет не по сценарию.

Соловки — рваный клочок — нет — даже не земли, а каменного месива, застывшего восковым потеком в Белом море — казался мне землей обетованной. Прапрабабка Катя (честно говоря, боюсь запутаться с количеством «пра») когда-то ходила пешком из Костромы на Соловки. Она болела чахоткой, кашляла кровью и была уже не жильцом в глазах родственников. Прапрабабка вернулась через год живая и, как ни странно, выздоровевшая, вышла замуж и нарожала детей всем чертям назло. По закону, изобретенному какими-то умниками (возможно, как всегда, британскими), к идее, засевшей в голове, из внешних источников все время липнет что-то с ней рифмующееся, как к рукам, смазанным вазелином: из книг, телевизора, газет кто-то хитрый все время нашептывает, подначивает. Мне попадались разные художественные видения Соловков: brutальное, правдоподобное, душное, как болото, засасывающее, Прилепина и едва намеченная, интеллигентская, как серебряный карандаш Дюрера, страшная до спанья со светом сказка Водолазкина. Ну, и фильм Лунгина — что уж тут говорить.

Слава техническому прогрессу, мне не нужно идти пешком, как прапрабабке: зеленая змея поезда виртуозно скользит между черными впадинами озер, как-то умудряясь выбирать сушу. В 2:28 по местному времени начался Север. Он полез из всех щелей внутрь вагона, как при замораживании бородавок криоспособом. Натягиваю кусачее, пахнущее неродными запахами одеяло на голову — не помогает. Впрочем, от всего Севера не укроешься.

Ситуацию отягощает то, что я страдаю топографическим кренизмом. То есть как страдаю, иногда даже наслаждаюсь. Несмотря ни на что, я оказываюсь на корабле, где меня кто-то допытывается, турист я или паломник. Я отвечаю, что что-то среднее, потому что до конца еще не решила. Один знакомый меня однажды спросил, что, судя по всему, мне очень нравится «путешествовать по церквям». Это было примерно то же самое, когда я спросила своего приятеля, сына музыканта из филармонии, нравится ли ему музыка. Он ответил, что сначала у него не было выбора, а потом он втянулся. Мой университет может свести

с ума вроде бы нормального человека, покачнуть его систему мира так, что все звенья нарушатся и никогда не соберутся вместе в нужном порядке, как части мозаики в руках горе-реставратора, но все же он имеет важное преимущество: в нем нет презрения к провинции, а есть даже какой-то маниакальный интерес. Мы ходили по нетуристическим маршрутам в туфлях-аквариумах от нескончаемых ливней, проклинали практику и ее предводителей, пели самодельные песни и пили самодельное вино в терапевтических целях. А когда это кончилось, мне показалось, что у меня в доме что-то украли, вынесли незаметно, а я не могу вспомнить, что именно. Я не болела чахоткой или еще чем-нибудь похуже, но в какой-то момент, проснувшись, как от гудка парохода, раздавшегося в моей голове, поняла: пора на Север.

Небо и Белое море сближаются и растворяются одно в другом, как две спаянные мармеладины с разными вкусами. Или еще в детстве был картон с градиентом: один тон постепенно переходит в другой. На протяжении морского пути нас конвоируют чайки. Хочется сказать: не стая чаек, а стадо чаек. Они летят настырно, в их облике что-то от выдуманного гаррипоттеровского мира: они похожи немного на сов (впрочем, чайки, какие-то более пролетарские по своему облику, явно им проигрывают) и в то же время на летающий мяч в игре квиддич: так стремительно они меняют траекторию в погоне за брошенной хлебной крошкой. Я кидаю припасенный хлеб одной такой птице. Чайка ловит и смеется. Я тоже.

Вообще, есть некое дерзновение в ожидании эффекта, который острова должны произвести. Желательно, чтобы эффект был моментальный. В глубине души ждешь, что к тебе навстречу выйдет некто уровня Мамонова, просветит насквозь глазом-рентгеном, скажет загадочную околесицу, в которой где-то глубоко — скрытый смысл. И ты, пусть даже прокукарекав, изваявшись в земле, вдруг посмотришь на все опустошенными ясными глазами, на дне которых плывет и раскачивается монохромное северное небо. Но Мамонов не выходит, а выходит начальница общезжития, разговаривающая с помощью одних глаголов. Я, грешный человек, сужу по первому впечатлению, все неприятное мне в режиме замедленной съемки многократно прокручивается перед

глазами заевшей кинолентой. Мне вдруг представляется, что эта начальница — потомок кого-то из среднего административного звена лагеря, здесь существовавшего.

Я засыпаю, несмотря на белую слепую северную ночь, стойкий нафталиновый запах, как из бабкиного шкафа, несмотря на стук в дверь местных шоферов: «девки, пойдемте чай пить!» — и ответную пулеметную очередь из мата с каким-то особенным северным привкусом от моей соседки, архангельской женщины, все время пропускающей гласные в словах, несмотря на пластмассовый сериал, который она смотрит по «России-1». Ночью мне снится белиберда (как всегда), хоть уже в который раз загадала стыдное, темное, суеверное: на новом месте приснишь жених невесте. Но жених не снится, а снится преподаватель-постмодернист, который настойчиво спрашивает меня, приближаясь большой лысой головой, на что похож пластмассовый сериал. Я отвечаю, что на скульптуры Джеффа Кунса (для справки: это американский скульптор, специализирующийся на китчевых произведениях огромных размеров — от имитации садовой скульптуры до фигур знаменитостей); просьба впечатлительным — не гуглить, хотя, кажется, уже поздно.

Утром я иду спасаться в монастырскую гостиницу. Там на меня смотрят с легким недоверием, скользя глазами по уху, проколотому в неканоническом месте, и запрещенным штанам, возможно, прикидывая в уме, не придется ли переосвящать помещение после меня. Но мир человечен и тепел, как учит один писатель, и мне протягивают ключ: ваша келья № 24. Здесь свой патриархальный мирок с братьями и сестрами, которым, кстати, запрещено присутствовать в одной келье (впрочем, я даже и не мечтаю), слово «деньги» лучше синонимировать пожертвованием. В келью сочится запах дерева, растопленного воска и везде добавляемой ламинарии. С двух сторон на монастырь, видимый из окна кельи № 24, напирают Белое море и Святое озеро, выталкивая его и раскачивая. Я тоже плыву и раскачиваюсь, как утлая лодка, как оторванная несуразная ламинария, как инфузория-туфелька.

Я ехала на Соловки с тяжелым сердцем — такой груз, превышающий все нормы провоза багажа, строгая женщина с тонко нарисованными бровями у стойки регистрации на авиарейс

наверняка не пропустит, а из корзины воздушного шара и по-давно выбросят, чтобы повыше взлететь. Но на корабле в суете и толкотне моей контрабанды никто не заметил. На Соловках почти нет земли. Автохтонный житель, похожий на рыжего хитрого домового, жалуется мне, что два часа не мог похоронить кота: не получалось вырыть могилу. Земли и впрямь нет, но есть камни, вода, песок, небо, морские звезды, щекотно обнимающие за ладонь, лось, вышедший из леса навстречу едущей с зубодробительным гроыханием буханке (местное транспортное средство), две обнаглевшие лисы, не боящиеся ни Бога ни черта, ветер, толкающий меня в спину в последний день (нажилась — пора и честь знать), и еще люди. Словом, я решила, что уж если так много разных зверей в Божьем зверинце (зверей прошу не воспринимать буквально), то все ответы можно искать самостоятельно, не прибегая к гидам.

С детства меня мучили онтологические и прочие философские вопросы. Я упорно носила в своей голове нечто жуткое по своей безответности и сеющее червоточину сомнения, как то: есть ли первопричина мира, и если Бог творил Вселенную, то из чего; как все же мы осознаем свое «я», как мои близкие, смотрясь в зеркало, понимают, что они — это именно они, а не кто-то еще. Из всего этого списка я смогла спросить только одно: когда мама, не жалея пальцев, терла морковь на терке, я, присмотревшись к ее механическим движениям, выдавила из себя: больно ли овощам, когда мы их едим? Более всего меня волновала проблема бесконечности Вселенной. Все в этом мире имеет свое окончание: человеческая жизнь хотя бы на каком-то своем этапе, фломастер, любовь, в конце концов, а Вселенная как-то извращенно, неправильно, враждебно всему человеческому, вещному, живому и теплomu конца не имеет. С поездкой на острова я не только не приблизилась к решению этой проблемы, но, пожалуй, даже отдалилась, как уплывает потерявший управление баркас в открытое море. Если уйти километра на четыре от центра поселка, признаки жизни человека теряются, этого человека просто еще не изобрели, тишина такая, что слышно, как дождевой червь подкапывает по тебя тоннель. Забредя в Ботанический сад, кожей чувствую, что рядом

где-то — вода, иду на сине-черные проблески и выхожу к озеру. Сверху и снизу, справа и слева, лукаво вращалось вокруг человека, наподобие армиллярной сферы, и не давалось в руки небо и вода, вода и небо (поменяй местами слагаемые — ничего не изменится). Пространство и время, помноженное друг на друга, категорически не входят в сетчатку глаза, объектив фотокамеры, расползаются по швам, как полуистлевшая простыня из приданого, собранного для меня бабушкой за многие годы. Чтобы удостовериться, не оглохла ли я и не отменили ли вообще все пять чувств, проверяю, как в микрофон: раз, два, три, — но все возвращается, как возвращается мир для пловца, вынырнувшего после глубокого погружения: и звук, и солоновато-кислый от моря и водорослей привкус воздуха, и цвет снега подкрашивает черно-белый снимок.

Но я не отчаиваюсь от своей онтологической беспомощности. Проснувшись от настойчивого нервического перестукивания костяшками дождевой руки по крыше, я, не знающая азбуку Морзе, не разобравшая шифра, решила, что стучат — мне, и мне пора плыть на соседний остров — Анзер — безумству храбрых поем мы славу. Небольшой корабль под предводительством капитана Миши, конечно же, без каких-либо намеков на рациональное решение возможной внештатной ситуации (будь то хотя бы спасательные жилеты) легко, послушно вздымается и проседает от вздоха и выдоха Белого моря, как положенный на грудь великана камешек. Капитан Миша смотрит на меня глазами в цвет здешних мест: одновременно серыми, голубыми, чуть с зелена, уже блекнувшими, готовыми потерять цветность, встряхивает головой с совершенно неукротимыми, стоящими нимбом, как у одного лесковского героя, волосами, перекрикивает мотор: «А закаты-то у нас какие! Вот Танька моя в Абхазию ездила, говорит: нет, папка, Абхазия нашим закатам в подметки не годится». Капитан Миша — шаман, кудесник; для меня нет ни севера, ни юга, ни запада, ни востока, все азимуты и параллели спутаны комом нечесаной пряжи, а он, почти не глядя вперед своими выцветавшими глазами, придерживает штурвал одной рукой, второй держит папиросу, а третьей — вроде как и третья у него была — показывает, в какой стороне Северной полюс.

«А мне один митрополит дал такое мощное благословение, такое мощное, но сказал никому не говорить», — подмигивает женщина, держащая метровый деревянный крест в руках (это ее послушание, которое она везде носит с собой и которым потом будет попадать другим паломникам то в глаз, то по лбу). Пятнадцать человек в каюте согласно кивают в знак того, что все они — могила. «Так что, будем молиться соборно или индивидуально?», — не успокаивается она, но наша кают-компания уже имитирует глубокий сон, и только один священник набирается мужества взглянуть в ее горящие, ни на чем не останавливающиеся глаза: это уж как вы, матушка, решите. «А давайте тогда споем нашу, крестоходскую». Молчание — знак согласия, и ее тонкий неплохой голос летит поверх Белого моря, разматывая нескончаемую, как водоросли, песню. Ей внемлет только одна карельская девушка, я беззастенчиво рассматриваю ее блеклое, с отпечатком северных бесцветных ночей лицо. Она ловит мои темные, тяжелые глаза на себе и, как бы охраняя свою бледную, полупрозрачную красоту от взгляда, который по неосторожности может нечаянно повредить ее хрупкую оболочку, протягивает руку: Светлана, ой, то есть Фотинья.

Это театр одного актера и одного зрителя. Женщина с крестом рассказывает Светлане-Фотинье о своих многочисленных паломничествах. Мне приходит в голову крамольная мысль, как мальчику из Шмелевской прозы во время литургии лезло всякое в голову (что священник, например, толстый и в гроб не войдет): женщина с крестом участвует в каком-то тайном квесте и пытается «зачекиниться» во всех святых местах, и что, в общем-то, ей все равно, что комсомольская стройка, что монастырь. Светлана-Фотинья, впечатленная такой географией, с энтузиазмом спрашивает: «Ну, а в Иерусалиме-то, в Иерусалиме, были?». Но женщина с крестом не была в Иерусалиме, потому что вся благодать давно перекочевала сюда, в Россию. Я вспоминаю какой-то фильм, в котором героиня на замечание собеседника о том, что Дева Мария не была русской, обиделась.

На меня Фотинья смотрит, как на австралийского аборигена, которого нужно катехизировать, и как можно скорее: «У вас там, в Башкортостане, наверное, одни мусульмане и язычники» — «Я из Барнаула» — «Ну да, то есть в Барнауле».

Чтобы причалить к Анзеру, оказывается, из маленького суденышка нужно пересесть в еще менее надежную лодку. Низкое небо, совсем приплюснутое к земле, накрыло остров растянутым тентом, рассчитанным на малорослых людей, и мне кажется, что выходящий с корабля высокий монах точно не поместится под ним, да и я, наверное, тоже. К всеобщему удивлению, операция проходит успешно, десятилетний сын капитана с какой-то неправдоподобной, не соответствующей его туловищу силой швартует лодку. Под моими ногами земля продолжает раскачиваться. Некто хитрый все спутал здесь, все смешал, и природные зоны легли в обратном порядке, поэтому если кто-то следил бы за нами с вертолета, то увидел, как длинная цепочка людей тянущейся нитью проштопывает насквозь с севера на юг тайгу, смешанный лес, а затем только тундру. По-моему, тут невозможно хотя бы на несколько минут не впасть в ересь пантеизма. На языке у меня горчит-кислит прошлогодняя брусника, из кармана выглядывает кусочек белого ягеля — Гринпис бы давно уже проклял.

Но все самое главное остается за скобками, за кадром, на слепых полях, вне зоны видимости. Потому что бэкстейдж бывает порой интереснее фильма, потому что самого главного не говорят: не изобрели еще таких слов, а те слова, что изобретены, беспомощны в назывании неназванного и отъятии кусков у вечной немоты, как беспомощен детский лепет, если на нем пытаться объяснить логарифмы. Потому что речь — это то же самое, что «Давид» Микеланджело: в аморфной глыбе нужно увидеть протоформу и дать ей верное имя, безошибочное, как имя первенца или спущенного на воду корабля.

Мне часто везет на попутчиков — на обратном пути я оказываюсь в одном вагоне с Фотиньей. Теперь уже она рассматривает меня своими светлыми близко посаженными глазами и всерьез принимается за попытку спасения моей души. Ад Фотиньи не менее страшен, чем у фрескистов шестнадцатого века: с точностью археолога, раскопавшего помпеянцев, застигнутых Везувием врасплох, она живописует, как, когда и при каких позах потусторонние чекисты, все с ног до головы в коже и на черных воронках, оставляющих серный шлейф, беспощадно вязали зазевавшихся грешников. Я пытаюсь перевести разговор в другое русло.

Рассказываю про недавно прочитанную и еще не до конца отпущенную мной книгу Евгении Гинзбург про сталинские лагеря, прибегаю к своей универсальной рубрике: «Водолазкин на все случаи жизни» (после почти трехчасового интервью с ним я, кажется, могу сдабривать его цитатами, к месту и без, любую беседу). Но, видимо, русло этого разговора менять так же тяжело, как русла сибирских рек в эпоху целины: реки буянят, корчатся и все равно идут по-своему. Гинзбург автоматически отсеивается как не проявившая должной бдительности в борьбе с трансцендентным врагом (Евгения Гинзбург в начале своего пути, — скорее всего, неверующая, в конце — знает несколько католических молитв наизусть), мое же оружие всеобщего поражения — Водолазкин — особого эффекта, как просроченные таблетки, тоже не производит, его книги помещаются в разряд допустимого безумия — то есть лучше перекрестить перед прочтением. Не найдя себе места в этой черно-белой картинке, я, изобразив смертную истому, скрываюсь на верхней полке поезда. Отсюда рассматриваю копошащихся людей, вершащих свои обычные поездные дела и совсем не замечающих, что поезд уже не считается с преградами, а летит пущенной неотвратимой монгольской стрелой поверх черной северной воды и воздуха, и только вечерний закатный свет медной проволокой, янтарными бусами прошивает и скрепляет дребезжащие вагоны в одну связку, и они не разваливаются. Отчего-то такой свет бывает только в поездах, его природа такая же, как у свежего меда, как у змеиных глаз хитрой девушки или кошки, и он преображает всех без разбора: и едаков «Доширака», и игроков в карты. Поезд вздрагивает и останавливается, мы стоим долго, без станции, в поле, и никто из нескольких сотен пассажиров не знает почему. Может, машинисту стало плохо, может, он сбил человека, может, просто залюбовался закатом, которому абхазский закат в подметки не годится. Но в любом случае у машиниста есть какой-нибудь замысел о нас, и наши жизни стопкой ненужных, вверенных кем-то, сунутых наспех бумаг — в его руках.

Я лежу и думаю, что неплохо было бы пойти в голову поезда, спросить: «Чего стоишь, мне домой надо». И еще иногда хочется так же нагло добраться до самого... в какой-нибудь неприемный

день и сказать: «Говори погромче (я глуховата) или, по крайней мере, на моем языке». Но разные люди, события, поступки, вещи, лица по-прежнему плывут дружной стайкой привидений, сливаются вместе и снова, как клетки под микроскопом, делятся надвое, и все это примерно так же, как в ночь перед экзаменом, когда переучил, и все билеты жужжащим роем кружатся перед тобой, вещно материализуются, и ты не можешь понять, какой из них — самый верный, тянешься к тому, что больше всего похож на правду, но он взрывается и исчезает. Я живу как человек, у которого после бани запотели очки, и совершенно не знаю, с чего вдруг миллионы лет назад валуны покатались с оглушительным грохотом, неся за собой ошметки льда, семена сосны и споры мха, как сгрудились они в эти острова и зачем сюда пришли монахи, которых не ждали и не просили, как произошло, что бывший монастырь однажды превратился в машину смерти, из которой умнейший с грустными глазами на выкате Павел Флоренский писал жене, как будто не чувствуя на себе жжения наведенного мушкой прицела, милую чепуху о талом снеге и агар-агаре, а через несколько лет поймал лбом пулю, зачем в эти края наострились набожная Фотинья и бестолковая я, от которой на острове осталась лишь тень, впечатанная разящим злым северным солнцем в стену из валунов, которые старше меня до и после, как навсегда впечатываются в стены радиоактивным излучением силуэты людей.

В голове у меня крутится уже почти хрестоматийное: «Это абсурд, вранье: череп, скелет, коса». Мир за той чертой прописан Фотиньей так реалистично, так добросовестно, что я не верю в него, как в картину в духе соцреализма. В неведении жить страшнее, но иногда интереснее, чем в Фотиньевском чертежном раю с размеченной под прямым углом сеткой линий, потому что в старом Тбилиси интереснее, чем на Васильевском острове в Питере. Мне становится смешно от этих незамысловатых умозаключений, которыми я сама себе напоминаю героиню одного фильма Вырыпаева; я улыбаюсь, и какой-то мужик, лежащий на противоположной полке, думая, что это я — ему, скалится в ответ всеми своими щербинами. Тот фильм, конечно, пластмассовый, диалоги — плод тяжелых родовых мучений, но и моя

жизнь недалеко ушла. Католическая монашка, застрявшая в самой глухой азиатской провинции (Шамбала? Внутренняя Монголия?), пользуется случаем и изучает пересеченную местность, лазит по горам, страдает от перепада высот. В конце фильма ее в духе советской школы спрашивают: что нового узнала (почти: как я провел лето), и она без тени смущения говорит: God exists (Бог есть), хотя и до этого она вроде бы не мучилась неразрешимой дихотомией: есть или не есть.

Но поезд опять вздрагивает и с неповоротливостью зверя, разбуженного после зимней спячки, сотрясая все плохо закрепленные детали паркинсонной дрожью, начинает свой ход. В моих наушниках надывается Цой.